

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЕТСТВА

1844—1854

I

Объезд диких лошадей. — Калмык

В украинском военном поселении, в городе Чугуеве, в пригородной слободе Осиновке, на улице Калмыцкой, наш дом считался богатым. Хлебопашеством Репины не занимались, а состояли на положении торговцев и промышленников. У нас был постоялый двор.

Домом правила бабушка. Широко замотанная черным платком, из-под которого виден был только бледный крупный нос, она с раннего утра уже ворчала и бранилась с работниками и работницами, переворачивая кадки и громадные чугуны, проветривавшиеся на дворе.

Кругом большого светлого двора громоздились сараи, заставленные лошадьми и телегами заезжего люда. Повсюду стояла грязь, коричневые лужи и кучи навоза.

Днем широкие ворота на Калмыцкую улицу оставались открытыми, и через них поминутно въезжали и выезжали чужие, проезжие люди. Становились как попало на дворе или в сараях и хозяйничали у своих телег: подпирали их дугами, снимали и подмазывали дегтем колеса черными квачами¹ из мазниц. Лошади с грубой дерзостью таскали из рептухов² сено, большая часть его падала им под ноги, в навоз, затаптывалась.

¹ *Квач* — самодельный помазок для дегтя из тряпки, намотанной на конец палки. (Здесь и далее, если не указано иное, примечания редактора).

² *Рептух* — холщовый мешок, служащий походной кормушкой для лошадей.

Отец мой, билетный солдат, с дядей Иваней занимались торговлей лошадьми и в хозяйство не мешались.

Каждую весну они отправлялись в «Донщину» и приво­дили оттуда табун диких лошадей.

На месте, в степях, у богатых донских казаков-атаманов, лошади плодились круглый год на подножном корму и потому стоили дешево (три-пять рублей за голову), но пригнать из-за трехсот верст верхом и объездить дикую лошадь составляло серьезное и трудное дело. Отец говорил:

— Тут без помощи калмыков ничего не выйдет, одно несчастье!

Дядя Ивана, вечно на коне, в шапке-кучме (папахе), был черен, как черкес, и ездил не хуже их, но калмыкам удивлялся и он. Калмык с лошадью — одна душа. Опрометью бросившись на лошадь, вдруг он гикнет на табун так зычно, что у лошадей ушки на макушке и они с дрожью замрут, ждут его взмаха нагайкой, в конце которой в ремне вшита пуля. Одним ударом такой нагайки можно убить человека.

У нас на Руси широки столбовые дороги, есть где табуну пастись на даровой траве и отдохнуть всю ночь. Но боже упаси заснуть погонщику близ яровых хлебов! Дикае кони тихой иноходью — уже там, в овсах, и вы­бывают косяк чужого хлеба.

Проснулись хохлы-сторожа, с дубинами и колыями бегут загонять табун... Поди выкупей! Калмык убил бы себя нагайкой в лоб за такую оплошность. Привязанный к его ноге горбоносый донец заржет вовремя и так дернет крепко спящего хозяина, таща его по кочкам к табуну, что только мертвец не проснется. Как лошадиный хвост от комаров, калмык взмахнется на своего поджарого и так зычно гикнет на лету на лошадей, что самому ему останется только исчезнуть в облаке черноземной пыли, взбитой табуном. А хохлы с дубинами долго еще стоят, разинув рот... Наконец перекрестятся:

— Оце, мабуть, сам чортяка! А хай йому біс!.. Нечиста сила!¹

В углу нашего двора были широкие ворота на пустошь, которая оканчивалась кручей к Донцу, заваленной целыми горами лошадиного навоза. Что было бы здесь, если бы в половодье Донец не уносил своим течением всего этого «золота» вместе с обвалившимися берегами кручи! Посредине пустоши был врыт крепкий столб. Сюда загоняли табун и здесь начинали учить диких лошадей житейской добродетели в оглоблях и седле.

При малейшем беспокойстве лошади неслись в какой-нибудь угол пустоши и там сбивались в каре. Дружно, головами вместе, они начинали так энергично давать козелки задними ногами, что комки земли и навоза далеко отлетали в лица подходящим. С косыми огненными взглядами и грозным храпом, степняки казались чудовищами, к ним невозможно было подступить — убьют!

Но у калмыка аркан уже методически свернут кольцами. И вот веревка змейкой полетела к намеченной голове, по шее скатилась до надлежащего места, и чудовище в петле. Длинный аркан привязывают к столбу и начинают полегоньку отделять дикую от общества, подтягивая ее к центру двора. Любезностями на конском языке междометий ее стараются успокоить, обласкать! Но чем ближе притягивают ее к столбу, тем бешенее становятся ее дикие прыжки и тем энергичнее старается она оборвать веревку: то подскакивает на дыбы, то подбрасывает задними копытами в воздухе. И кажется, что из раздутых красных ноздрей она фыркает огнем.

До столба осталось уже не больше сажени. Конь в последний раз взвился особенно высоко на дыбы, и, когда он стал опускаться, калмык вдруг бросился ему прямо в объятия, повис на шее и, извернувшись, в один миг

¹ Это, наверное, сам черт! А бес с ним!.. Нечистая сила! (укр.)

уже сидел на его хребте. Тогда с обеих сторон схватились за гриву наши работники, повисли на ней и стали подбивать в чувствительные места под передние ноги. Лошадь пала на колени, и голова ее очутилась во власти третьего работника: он захватил ее верхнюю губу, зажал и, завязав между особо приспособленными деревяшками, начал ее закручивать. Оскалились длинные белые зубы, открылись десны, и лошадь оцепенела от боли и насилия. Ей наложили на спину седло, продели под живот подпруги, затянули крепко пряжки, а калмык уже разбирает казацкие стремяна, сидя на высоком седле. Несут и уздечку, продели между зубов удила (трэнзель), чтобы лошадь не закусила...

— Отвяжите аркан! — командует калмык пересохшим голосом.

Аркан сняли с потемневшей шеи, и работники миготом отскочили в разные стороны. Лошадь уже лежала под калмыком, тяжело дыша.

Калмык взмахнул в воздухе нагайкой, и конь подскочил, встряхнулся.

И вдруг стал извиваться змеей и метаться в разные стороны, стараясь стряхнуть с себя седока; и опять начались дикие прыжки, взвивание на дыбы и козелки, чтобы сбросить непривычную тяжесть.

Калмык крепко зажал коня икрами в шенкеля и повернул его к воротам. «Отворяй ворота!» — визжит калмык. Нагайка свистнула, и конь мгновенно получил с одного маху по удару с обеих сторон по крупу. Он прыгнул вперед и понесся в ворота. Калмык гикнул на всю улицу, эхо отозвалось в лесу за Донцом. Пешеходы отскочили в испуге, бабы стали креститься, дети весело завизжали. Калмык стрелой понесся по большой дороге мимо кузниц, за Донец... Скоро и след его простыл, только столб пыли висит еще в воздухе...

Часа через четыре никто не узнал бы возвращавшегося к нашим воротам калмыка. Лошадь плелась пошатываясь, опустив мокрую голову с прилипшей к шее гривой; она была совсем темная. Калмык сидел спо-

койно и сосал свою коротенькую трубочку, подняв плоское лицо вверх; глаза его, «прорезанные осокой», казались, спали.

Хорошо обошлась школа, добрый конь будет.

Но не всегда объездка проходила так удачно. Однажды калмык не «спапашился» и, кинувшись на шею взвившейся на дыбы лошади, угодил лицом на переднее копыто. Широкое лицо его мигом залилось кровью, но калмык не опешил: отплевываясь собственной кровью, он умело барахтался между ногами лошади, и привычно пролез на спину коня, и уселся верхом как следует, но в каком виде!.. Лошадь, очевидно, была бешеная, движения ее были сумасшедшие и сбивали с толку опытного калмыка. Застыв на минуту под всадником, дикое животное вдруг выкинуло такой зигзаг, что всадник едва не слетел и удержался только за гриву, а лошадь с размаху рухнула к столбу... Внутри у нее что-то лопнуло, горлом хлынула алая кровь, и она пала. Кстати, и калмыку необходимо было слезть и сделать себе перевязку: через нос и скулу у него шла глубокая рана и сочилась черной кровью.

При этой оказии я, бросившись в сторону, упал лицом в землю и набрал себе полон рот песку. Гришка Копьев, наш работник, взял меня на руки, своей корявой рукой вытер мне лицо и пальцем вычистил песок из моего рта. И его рыжая веснушчатая рука, и сам он мне очень нравились. Мне так было весело и спокойно сидеть у него на руках и смотреть на все свысока! Я близко разглядывал его рыжую бородку, скобку волос и широкую скулу. Но на зубах у меня еще трещала земля.

Гришку я любил; он ездил верхом не хуже калмыка и нисколько не боялся лошадей. Раз на вороном жеребце — того на цепях выводили, — когда конь поднялся на дыбы, Гришка так огрел его кулаком между ушей, что жеребец даже на передние ноги сел... Я бывал счастлив, когда Гришка брал меня верхом на водопой. Сижу я перед ним на холке коня и замираю от ужаса, когда конь идет в глубокую бездну воды: бездонная пропасть ка-

залась мне ужасной. Облака! Но вот на дне облака заколыхались, лошадь стала бить ногой по воде. Кругом запенилось. Как весело! Брызги летят до самого лица — приятно, и страх провалиться вниз, в облака, прошел.

Когда табун угоняли на ярмарку, чумаки на этой пустоши варили себе кашу, и тут же лежали их волю, пережевывая жвачку и тяжело дыша.

Нам, детям, очень нравилось смотреть на их котелок, висящий на кольях, в треугольнике, когда под ним так весело горит огонек и стелется к Донцу голубой дымок. Лица у чумаков так черны, что даже огонек их не освещает; и рубахи их и «штаны» вымазаны дегтем. «От так здоровіше»¹, — говорили они. И руки коричневые, только ногти да зубы белые.

Мы с сестрой Устей долго их боялись и не подходили близко, хотя бегали около, играя в коня. Я держал веревочку в зубах и старался прыгать, как дикая лошадь. Устя была за кучера.

Видим, один чумак ласково улыбнулся белыми зубами и протянул нам хорошую светлую веревочку. Я взял ее в зубы вместо своей, она была очень вкусна — совсем тарань, соленая. Они везли тарань из Крыма.

— Вы это сами кашу себе варите? — спросила Устя. — Разве вы умеете?

— А хйба ж! Оце... Та й дурень кашу зварить, як пше-но та сало².

И чумак дал нам попробовать горячей, дымящейся каши из огромной деревянной ложки, отвязав ее от пояса.

— Ай как вкусно! — сказала Устя. — Попробуй!

Я едва достал из глубокой ложки и хотел уже пальцами доставать остатки — так вкусно! Чудо!

— А пострівай, хлопче, я тобі ще зачерпну³.

Я обжигался, но не мог оторваться...

¹ «Вот так здоровей» (укр.).

² А как же! Это... Дак и дурак кашу сварит, когда есть пшено и сало (укр.).

³ Подожди-ка, парень, я тебе еще зачерпну (укр.).

Днем, укрываясь от солнца, чумаки лежали под телегой с таранью, среди двора, и ели чухоню — огромную светлую соленую рыбу. Заверотив книзу чешуйчатую кожу, чумаки с наслаждением смаковали ее понемногу, прикусывая черный хлеб громадными кусками.

— А разве чухоня вкусная? — спросила Устя.

Я стоял за ее спиной и удивлялся ее смелости.

— Эге ж! Та як чухоня гарна, та хліб мягкий, так геть таки хунтовá¹.

Фунтовой рыбой назывались осетрина, белуга, севрюга, продававшиеся по фунтам. Тарань продавалась вязанками, а чухоня — поштучно.

II

Военное поселение

Некоторые пишущие о художниках называли меня казаком — много чести. Я родился военным поселенцем украинского военного поселения. Это звание очень презренное: ниже поселенцев считались разве еще крепостные. О чугуевских казаках я только слышал от дедов и бабок. И рассказы-то все были уже о последних днях нашего казачества. Казаков перестроили в военных поселенцев.

О введении военного поселения бабушка Егупьевна рассказывала часто, вспоминая, как казаки наши выступили в поход прогонять «хранцуза» «аж до самого Парижа», как казаки брали Париж и уже везли домой оттуда кто «микидом», кто «мусиндиле» и шелку на платья своим хозяйкам.

А на русской границе — хлоп! как обухом по лбу! — их поздравили уланами. Уланам назначили новых начальников, ввели солдатскую муштру. Пока казаков не было дома, их казацкие обиходы в Чугуеве все были пере-

¹ А то! Да ежели хорошая чухоня и мягкий хлеб, куда той фунтовой.

деланы. Часто рассказывала бабушка о начале военного поселения — как узнала она от соседки Кончихи, что город весь с ночи обложен был солдатами. «Верно, опять ханцуз победил, — догадывались казаки, — и наступает на Чугуев. Ханцуз дурак. Сказали вить ему, что чугуный город, а у нас одни плетни были. Смех!»

Бабы напекли блинов и понесли своим защитникам-солдатушкам: «Может, и наших в походе кто покормит». Но солдаты грубо прогнали их: «Подите прочь, бабы! Мы воевать пришли. Начальство, вишь, приказало не допускать: казачки могут отраву принести».

В недоумении стали мирные жители собираться кучками, чтобы разгадать: солдат сказал, что и «город сожгут, если будете бунтовать». Стояли мирно, озабоченные, и толковали: «Вот оказия!»

К толкующим растерянным простакам быстро налетали пришлые полицейские и патрули солдат, требовали выдачи бунтовщиков. Большинство робко пятилось. Но казаки — народ вольный, военный, виды видали, а полиции еще не знали.

— Каки таки бунтовщики? Мы вольные казаки, а ты что за спрос?

— Не тыкай — видишь, меня царь пуговицами потыкал. Взять его, это бунтовщик!

Смельчаков хватали, пытали, но так как им оговаривать было некого, то и засекали до смерти.

Такого еще не бывало... Уныние, страхи пошли. Но местами стали и бунтовать. Бойкие мужики часто рассказывали о бунтах, захлебываясь от задору. Особенно отличалась Балаклея, а за нею Шебелинка. Казачество селилось на возвышенностях; и Чугуев наш стоит на горе, спускаясь кручами к Донцу, и Шебелинка вся на горе. Шебелинцы загородились телегами, санями, сохами, боронами и стали пускать с разгону колесами в артиллерию и кавалерию, подступившую снизу.

— А-а! Греби его колесом по пояснице! — кричали с горы расходившиеся удальцы. — Не могём семисотную команду кормить!

Развивая скорость по ровной дороге, колеса одно за другим врезывались о передние ряды войска и расстраивали образцовых аракчеевцев. Полковник командовал:

— Выстрелить для острастки холостыми!

Куда! Только раззадорились храбрецы.

— Не бере ваша подлая крупа — за нас Бог! Мы заговор знаем от ваших пуль. Не дошкулишь!

Но когда картечь уложила одну-две дороги людьми, поднялся вой... отчаяние... И — горе побежденным... Началось засекание до смерти и все прелести восточных завоевателей...

Отец мой уже служил рядовым в Чугуевском уланском полку, а я родился военным поселянином и с 1848 по 1857 год был живым свидетелем этого казенного крепостничества. Началось с того, что вольных казаков организовали в рабочие команды и стали выгонять на работы.

Прежде всего строили фахверковые казармы для солдат. Нашлось тут дело и бабам, и девкам, и подросткам. Для постройки хозяйственным способом из кирпича целого города Чугуева основались громадные кирпичные заводы. Глины кругом сколько угодно, руки даровые — дело пошло быстро.

Из прежних вольных, случайных, кривых чугуевских переулков, угопавших во фруктовых садах, планировались правильные широкие улицы, вырубались фруктовые деревья и виноградники, замащивались булыжником мостовые циклопической кладки — Никитинской и широкой Дворянской улиц.

Бабы по ночам выли и причитали по своим родным уголкам, отходившим под казенные постройки, квартиры начальству, деловые дворы, рабочие роты и воловьих парки.

Я увидел свет в поселении, уже вполне отстроенном; я любовался уже и генеральными смотрами «хозяевам» и «нехозяевам», производимыми графом Никитиным.

На Никитинской, Дворянской и Харьковской улицах каменные хатки для хозяев были как одна. Выстроены, выкрашены *al fresco*¹ наличниками; и так они были похожи одна на другую, что даже голуби ошибались и залетали в чужие дворы. Залинейные домики для «нехозяев» были бревенчатые и столь же однообразные, как и хозяйские на линии.

Инспектор резервной кавалерии граф Никитин был высокий, костистый, сутуловатый старик. Окруженный своим штабом, он стоял на крыльце Никитинского двorca, а перед ним дефилировали «хозяева» города Чугуева и пригородных слобод: Калмыцкой, Смыколки, Зачуговки, Пристена, Осиновки и Башкировки.

Мы, мальчишки, взбирались на пирамидальные тополя, росшие на плацу, чтобы лучше видеть и графа Никитина, и проходившее перед ним военное пахарство. И кругом плаца, и далеко по Никитинской улице уходили вдаль серые группы запряженных телег с торчащими дреколями и сошниками, блестящими на солнце.

Разумеется, в первые очереди ставили зажиточных хозяев, с новой сбруей на добрых лошадях, с прочными земледельческими орудиями. Мы знали всех.

Вот тронулись Пушкаревы. Отец сидит на передке в форменной серой арестантской фуражке, в серой свитке (армяке); лицо бледное, злое (наряда своего не любят поселяне; в сундуках у них лежали свитки тонкого синего сукна, и в церковь они шли одетые не хуже мещан). На задке у Пушкарева, «нехозяином» по форме, сидит Сашка Намрин — бобыль. Лентяй, я его знаю: он у нас в работниках жил (лошадей боялся); ослабился на нас своими деснами, и выбитый зуб виден. Пара лошадей — сытые, играют, борона новая, спицы толстые, багры длинные, струганные, вилы, косы, молотильные цепы, все по форме, все прилажено ловко и крепко; сошники у сохи длинные, не обтерухи какие, весело блестят.

¹ *Al fresco* — в технике фрески (*um.*) — живописи по сырой штукатурке.

Сашка корчит из себя заправского солдата; серый армяк у него аккуратно сложен, как солдатская амуниция, пристегнут через плечо, серая фуражка: арестант — две капли воды.

Поравнялись, им скомандовали что-то с балкона — затарахтели рысью.

За ними едут Костромитины. Старик Костромитин осунулся в воротник, глаза, как у волка, из-под нависших бровей; вожжи подобрал, пристяжная играет.

— Молодец Костромитин! — мямлит ласково граф Никитин. — Рысцой с Богом!

Загрохотали и эти, блестят толстыми шинами колеса.

Проехали Воскобойниковы на пегих — тоже хорошо. Вот и Заховаевы, старoverы. Заховаев — хозяин добрый. Всю семью свою любит, даже на улице детей своих целует. И теперь веселый, красивый; черная окладистая борода. Тройка гнедых — сытая, кнута не пробовала. На облучке сзади Локтюшка с козлиной бородкой; этому далеко до солдата.

Проезжают, проезжают — сколько их!.. Переродовы, Субочевы, Бродниковы, Раздорские... Всех не переименовать.

А вот Юдины. Эти — бедные, они недалеко от нас живут: лошаденки тощие, маленькие, сбруя веревочная, все снаряды рвань и дрянь... Так. Его записывают: разжалуют его в «нехозяева»... Они лентяи: когда ни взглянешь к ним, всегда лежат на печке; наша работница Доняшка говорила, что с горя «взяться им не за что». А вот и Ганусов! «Калмык дикий», и его прозвание — лютый; он да Зорины из калмыков, говорят, крестились; хозяева они зажиточные, всего вдоволь.

Граф Никитин добрый: он не велел нас, мальчишек, прогонять с тополя, а под нашими ногами, против его дворца, много зрителей — всё мещане и торговцы. Поселяне ненавидят эти смотры, и никто из родственников не пойдет смотреть на позор своих, которых нарядили арестантами напоказ всему миру: гадко смотреть.

За нарядами поселян начальство смотрело строго: поселянки не смели носить шелку. Раз на улице, в праздник, ефрейтор Середа при всех сорвал шелковый платок с головы Ольги Костромитиной — девки из богатого дома — и на соседнем дворе Байрана изрубил его топором.

Девки разбежались с визгом по хатам; улица опустела. Мужики долго стояли истуканами. И только когда Середа скрылся, стали всё громче ворчать: «Что это? Зачем же этакое добро нивечить?¹ Надо жаловаться на него. Да кому? Ведь это начальство приказало, чтобы поселянки не смели щеголять. Шелка, вишь, для господ только делаются!»

Если бы вы видели, какой противный был Середа: глаза впалые, злые, нос закорючкой ложится на ушища, торчащие вперед. Мальчишки его ненавидят и дразнят: «руль». Вот он бесится, когда услышит! Раз он за Дудырем страшно гонялся с палкой. Кричит: «Я тее внистожу!» Дудырь кубарем слетел под кручу к Донцу, а Середа сверху бегаёт и бросает в мальчишку камнями. «Я тее внистожу!» — повторяет как бешеный, а сам страшный!

Досталось и ему однажды, но об этом после.

Несмотря на бесправную униженность, поселяне наши были народ самомнительный, гордый.

На всякий вопрос они отвечали возражением.

— Вы что за люди? — спрашивают чугуевцев, когда их подводы целыми вереницами въезжают в Харьков на ярмарку.

— Мы не люди, мы чугуевцы.

— Какой товар везете?

— Мы — не товар, мы — железо.

На улице каждого проходящего клеймили они едкими кличками. Всякий обыватель имел свое уличное прозвище, от которого ему становилось стыдно.

Кругом города было несколько богатых и красивых сел малороссиян — народ нежный, добрый, поэтический,

¹ *Нивечить* — портить (укр.).

любят жить в довольстве, в цветничках, под вишневыми садовками. Чугуевцы их презирали: «хохол, мазец проклятый» даже за человека не считался.

Пришлых из России ругали кацапами. Тоже, купцы курские...

— Прочь с богами — станем с табаком!

— С чем приехали?

— С бакалейцами: деготек, оселедчики, рожочки...

Своих деревенцев из Гракова, Большой Бабки, Коробчиной считали круглыми дураками и дразнили «магемами». «Шелудь баевый, магем мыршевой!» — ругали их ни за что ни про что. «Дядя, скажи на мою лошадь „тпру“!» — «А сам что?» — «У меня кроха во рту». — «Положи в шапку». — «Да ня влезя!»

В обиходе между поселянами царила и усиливалась злоба. Ругань соседей не смолкала, часто переходила в драку и даже в целые побоища. Хрипели страшные ругательства, размахивались дюжие кулаки, кровянились ражие рожи. А там пошли в ход и колья. Из дворов бабы с ведрами воды бегут, как на пожар, — разливать водой. А из других ворот — с кольями на вырубку родственников. В середине свалки, за толпой, уже слышатся раздрающие визги и отчаянные крики баб. И наконец из толпы выносят изувеченных замертво.

Преступность все возрастала. И чем больше драли поселян, тем больше они лезли на рожон.

Происходили непрерывные экзекуции, и мальчишки весело бегали смотреть на них. Они прекрасно знали все термины и порядки производства наказаний: «Фуктелей!¹ Шпицрутенов!² Сквозь строй!»

Мальчишки пролезали поближе к строю солдат, чтобы рассмотреть, как человеческое мясо, отскакивая от шпицрутенов, падало на землю, как обнажались от мус-

¹ *Фуктель* (фухтель) — плоская сторона клинка холодного оружия. Наказание фуктелями — удары по спине плашмя обнаженным клинком оружия.

² *Шпицрутен* — длинный гибкий древесный прут для телесных наказаний.

кулов светлые кости ребер и лопаток. Привязанную за руки к ружью жертву донашивали уже на руках до полного количества ударов, назначенных начальством. Но ужасно было потемневшее лицо — почти покойник! Глаза закрыты, и только слабые стоны чуть слышны...

Площадная ругань не смолкала, и не одни грубые ефрейторы и солдаты ругались, — с особой хлесткостью ругались также и представительные поселенные начальники красивым аристократическим тембром.

Начальники часто били подчиненных просто руками, «по мордам».

Только и видишь: вытянувшись в струнку, стоит провинившийся. Начальник его — раз, раз! — по скулам. Смотришь, кровь хлынула изо рта и разлилась по груди, окровавив изящную, чистую, с золотым кольцом, руку начальства.

Скользит недовольство по красивому полному лицу, вынимается тонкий, белоснежный, душистый платок, и вытирается черная кровь.

— Ракаля!.. Розог! — крикнет он вдруг, рассердившись.

Быстро несут розги, расстегивают жертву, кладут, и начинается порка со свистом...

— Ваше благородие, помилуйте! Ваше благородие, помилуйте!..

III

Маменька строит новый дом

Через нашу Калмыцкую улицу шла большая столбовая дорога. Поминутно проезжали мимо нас тройки и пары почтовых с колокольчиками, часто проходили войска, а еще чаще — громадные партии арестантов. Долго тянулась густая толпа страшных людей с полубритыми головами. Звенели кандалы, и казалось, будто войско идет. Встречались скованные тройными кан-

далами с висячей цепью или скованные по трое и более вместе. Страшные, полуобритые головы в серых арестантских шапках... Смотрели они исподлобья, как злые разбойники.

Вздыхали стоявшие у калиток и ворот бабы, выносили паляницы¹, а мужики доставали гроши, копейки, покупали паляницы, бублики тут же, в лавочке, и все это, догнавши, отдавали старшему арестанту впереди отряда. Тот принимал серьезно и почти не благодарил. Вообще поражало в арестантах выражение гордости и злобы. Сколько шло народу!.. Кончалась свора с кандалами — за ними ехали их подводы, на телегах сидели и лежали больные, бабы и дети...

Маменька со своей двоюродной сестрой Палагой Ветчинкиной в каждый годовой и двенадцатый праздник отвозили пироги, булки и бублики в острог и солдатский госпиталь. Уже дня за два перед праздниками пеклись булки и белые паляницы. Заезжала тетка Палага с возом, до половины нагруженным всякими кнышами², калачами и прочей снедью, и маменька с Дonyaшкой выносили свои запасы и полный воз везли «несчастливым».

Тетка Палага закутывалась большими черными платками, а к самому лицу белой косынкой. Она всегда держала низко голову — лица не было видно. Любила она подолгу сидеть с нашей маменькой запершись, долго на что-то таинственно жаловалась и много плакала. Воз с хлебом без конца стоял у наших ворот, а они все не выходили — горевали в слезах. Кажется, из ее родни кто-то сидел в остроге. Так в слезах и уезжали.

Семья Ветчинкиных была большая, это были хозяева-хлеборобы. Старик — жестокий и буйный во хмелю. Три сына женатых; старшая дочь замужем — приняли

¹ *Паляница* — украинский хлеб из пшеничной муки.

² *Кныш* — украинский круглый пирожок с запеченной внутри (или уложенной на поверхности, между приподнятыми краями) начинкой.

во двор за «нехозяина» зятя, а младшая — подросток — глуповатая Наталка. У старших уже были малые дети. И все жили в одном дворе, в двух хатах. Руганью да палкой старик держал всю семью в страхе и покорности. Но чуть он отлучался на работы, поднимался целый ад ссор и брани, до драк. Заводили всегда бабы и дети с пустяков. Но от вечного гнета все уже были так злы и раздражены, что только в ругани да потасовках и отводили душу. А потом росла месть... И так без конца.

Старший сын, Никифор, огромного роста, был глуп как бревно.

Раз, помню, у нас были гости; Никифор Ветчинкин выпил и развеселился вместе со всеми. Когда все уже были навеселе, то, как водится, стали петь песни; вдруг как заревел Никифор свою песню, так все даже испугались. А он, уже ничего не видя, ревел свое:

Пошла баба по селу
Добывать киселю;
Не добыла киселю,
А добыла овсу.

И страшно, и смешно; мы поскорей залезли на печку и там хохотали с ужасом.

Молодайка Арина, его жена, засовестилась и хотела было его остановить. Так он так рассвирепел!

— Отойди! Убью! Не мешай! Что! Смеются? Кто смеется? Эти постреляты? Я их одним кулаком убью!

Он так подымал кулаки и хотел что-нибудь разбить — вся хата дрожала.

Настя, красивая, с тонкими бровями и черными глазами, покраснела и не знала, что делать со стыда. Маменька подошла быстро к Никифору:

— Что вы? Кто смеет обижать и останавливать моего Никиту? Пой, Никита, пой! Ну, начинай сначала, мы будем тебе подтягивать.

Он глупо улыбнулся и протянул огромную ладонь к маменьке:

— А, тетка Степановна! Вот кого люблю, вот! Дай ручку поцеловать... То есть больше матери люблю. Потому — добра и нашего брата мужика потчует и жалует. А ты что?! — свирепея, обращается он к жене. — Давно тебя не учил?

— Ну-ну, Никита, запевай, будет тебе! — говорит опять маменька.

Пошла баба по селу, —

заревел Никифор опять...

Наша жизнь шла сама по себе: предстояла нам перемена — мы строили себе новый дом.

Чаще и чаще отлучалась маменька на постройку дома. И наконец перед нашей хатенкой, во дворе у бабушки, появилась запряженная телега, на которую выносили самые первые и важные вещи для новоселья.

Прежде всего вынесли образа и установили их прочно и безопасно на передке телеги; потом — деревянную чашку, ложку, что-то завернутое и что-то съестное. Нашу трехцветную черную кошку мы держали на руках. Наконец уселись и поехали.

Мы прекрасно знали, что все эти «русские» плотники — такие колдуны! С ними беда: сколько уже магарыча поставлено было! Заложить основание дому — магарыч; взволакивать «матицу»¹ — магарыч; крыть крышу стропилами — опять магарыч. И все это — четвертную бери на всю артель.

Боже избави делать не по-ихнему: они сейчас же «заложат дом на душу» того из семьи, кто им неприятен, и тот помрет. Уж всегда просят их, чтобы закладывали дом на какого-нибудь самого старого деда, которому умереть пора, — тогда уж воля Божья. А то ведь бывало так у других: плотникам не угодят как-нибудь, поссорятся с ними, так они подложат под святой угол

¹ *Матица* — опорная балка, поддерживающая потолок и крышу дома.

колоду карт. Тогда пойдет такая чертовщина, что из своего дома бежать придется: по ночам домовой с нечистой силой такой шум поднимают и таких страхов задают — беда!..

Наша маменька знала верное средство от всякого колдовства плотников. Разумеется, с ними она обходилась очень ласково, и все магарьчи были хорошие; плотники оставались довольны и на серьезный вопрос маменьки, на чью душу дом заложили, отвечали очень убедительно:

— Успокойтесь, Степановна, неужто же мы без креста на шею или вами чем обижены! Ведь мы тоже люди и понимаем, с кем и как и что прочее, например... А кошечку, точно, вы знаете сами, привезете вперед и все порядки, звестно, справите по Писанию, ведь вы же не то что мы, деревенщина, — ведь вы как читаете и Священное Писание знаете... Как же можно?

Яков Акимыч, рядчик, был мужик бородатый, веселый, но степенный и богомольный.

Вот мы и едем; по дороге пыль поднимается большими стенами и глаза ест. Далеко-далеко отъехали и еще дальше едем, все по-над Донцом. Вот остановились у нового, высокого, белого дощатого забора. Здесь. Но нам велено сидеть и не слезать с телеги. Кто первый войдет в дом — непременно умрет. Маменька с Доняшкой берут кошку на руки. Какого-то прохожего просят поставить внутри на середину дома чашку со съестным (посторонний не умрет, ничего ему не будет). Тогда отворяют двери в сенцы, пускают туда кошку и запирают ее в доме одну. Слышим, замыкала — на свою голову.

Снимают с телеги Устю и меня; мы весело влезаем на крыльцо — чистое, белое, выструганное. Отворяют двери в сени — можно! Но ставни затворены, темно. Доняшка отворяет ставни. Какие чистые белые полы! Мы начинаем бегать по всем комнатам. Какой огромный дом! Неужели это наш? Как весело!.. На стол в свя-

том углу поставили образа и молитвенник и что-то за-
вернутое.

Прилепили перед образом три восковые желтые
свечки, и маменька стала приготовляться читать ака-
фист Пресвятой Богородице. Мы знаем, что это про-
длится долго и будет очень скучно. Доняшка и Гришка
уже стоят за нами. Сначала все положили по три земных
поклона и слушали непонятные слова; мы ждали зна-
комых слов, когда надо было класть земной поклон.

А вот: «Радуйся, невесто невестная!» Мы сразу
бултыхнулись к чистому полу. Встали.

Поднявшись, маменька продолжала чтение тем же
выразительным голосом, чуть-чуть нараспев. Опять дол-
го. От скуки я оглядываюсь. Вижу, Гришка — уж видно,
неуч — быстро и смешно машет рукой, сложенной в ще-
поть, делает короткие кивки и скоро отбрасывает прядь
своей рыжей скобки, сползающей ему на глаза... а в это
время следует только смиренно стоять, — деревня!

— Аллилуйя!.. — произносит нараспев маменька,
и я опять бросаюсь в земной поклон рядом с Устей.

Поднимаемся дружно. Опять длинное чтение. Я огля-
дываюсь на Доняшку, она крепко прижимает два перста
ко лбу. Мы все крестились двуперстным знамением, хотя
и не были староверы. Но маменька говорила, что крес-
титься щепотью грех: табак нюхают щепотью. И я стал
крепко прижимать ко лбу два перста. Кстати раздалось
опять: «Радуйся, невесто невестная!» — земной по-
клон.

Снова долгое чтение. Я оглянулся на Гришку и чуть
не прыснул со смеху: он так смешно дремал стоя. При
этом еще щепоть на высоте рта как-то дергалась вместе
с рукой, которая никак не могла сделать крестное зна-
мение, глаза смешно слипались, а брови поднимались
высоко-высоко и морщили лоб, — потешно...

Наконец, к моей радости, маменька пропела «ал-
лилуйя», и я поскорей бултыхнулся, чтобы не смеяться,

и продолжаю лежать, уткнувшись в пол, чтобы не заметили. Потом потихоньку — от полу — заглядываю вбок на Устю. Она серьезно сдвинула брови, стоит ровно и смотрит на меня сердито. Я поднимаюсь, оправляюсь...

«Радуйся, невесто невестная!» После должного поклона я боюсь уже оглядываться и решаюсь собрать все силы и ждать конца. Мы знали, что, когда начнут читать «О всепетая мати, рождшая», тогда, значит, скоро конец. Но долго еще чередовались «аллилуйя» и «радуйся, невесто невестная».

Но вот и желанная «всепетая»; вот и конец. Гришка, уже бодрый, принес в цебарке¹ воды с Донца. Большой старинный медный крест и кропило лежали на столе — я их раньше не приметил.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — торжественно произносит маменька и троекратно погружает в цебарку крест.

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое!» — запекает маменька, мы все подхватываем и торжественно двигаемся ко всем углам комнат. Маменька кропит и поет хорошо. Гришка фальшивит, страшно спешит и поминутно крестится, отбрасывая скобку от глаз.

Переходим в другую комнату, в третью, и везде-езде — и на пол, и на потолки, и во все окна — маменька кропит святой водою.

Так обошли весь дом. Вернулись опять к образу; здесь все подходили к кресту, и маменька всех нас кропила в затылок. Потекла вода за шею; надо было ото лба святой водой смачивать щеки и все лицо.

После акафиста мы набегались влать на светлых полах в чисто выбеленных комнатах.

В нашей хатке, на постоялом дворе у бабеньки, нам стало уже скучно, и мы всё приставали к маменьке, чтобы нас опять взяли в новый дом и чтобы нам скорей переезжать туда жить.

¹ Цебарка — ведро (укр.).

Содержание

Впечатления детства. 1844–1854	5
Юность. 1859–1861	76
В Петербурге. 1863–1870	119
Иван Николаевич Крамской	174
Стасов, Антокольский, Семирадский	234
Бурлаки на Волге. 1868–1870	245
Николай Николаевич Ге и наши претензии к искусству	336
Архип Иванович Куинджи как художник	378
Валентин Александрович Серов	391
Из моих общений с Л. Н. Толстым	423
Письма об искусстве	444